

Книга первая

ДЕВУШКА ЖДЕТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Епископ Портсминстерский угасал с каждой минутой; к умирающему вызвали всех четырех его племянников и обеих племянниц, одну из них — с мужем. Думали, что он не протянет до утра.

Тот, кого в шестидесятых годах приятели в Харроу¹ и Кембридже звали «Франтиком» Черрелом (как произносилась его фамилия Чаруэл), кто был потом преподобным Касбертом Черрелом в двух лондонских приходах, каноником Черрелом на вершине своей ораторской славы, а последние восемнадцать лет Касбертом Портсминстерским, — так и остался холостяком. Он прожил восемьдесят два года и пятьдесят пять из них — приняв духовный сан довольно поздно — представлял Господа Бога в самых разных уголках земли. Именно это, да еще умение с двадцатилетнего возраста подавлять свои природные склонности, придало его лицу сдержанное достоинство, которого не нарушила даже близость смерти. Он относился к ней с иронией — судя по чуть поднятой брови и по словам, еле слышно сказанным сиделке:

— Завтра вы наконец выспитесь как следует. Я буду точен — ведь облачения мне надевать не придется.

Он умел носить облачение лучше всех в епархии, выделялся лицом и осанкой, сохранив до конца привычки заправского денди, которыми и заслужил свою кличку Франтик... а теперь он лежал не шевелясь, с аккуратно причесанными седыми волосами и слегка пожелтевшим лицом. Он так долго был епископом, что никто уже не мог сказать наверняка, как он относится к смерти, да, пожалуй, и ко

¹ Закрытая мужская школа.

всему остальному, кроме, быть может, требника, малейшие изменения в котором он решительно отвергал. Он и от природы был сдержан, а жизнь со всем ее церемониалом и условностями и вовсе отучила его проявлять свои чувства, — так вышивка и драгоценные камни скрывают ткань ризы.

Он лежал в комнате с распахнутыми створчатыми окнами, в монашески строгой комнате дома шестнадцатого века, построенного возле собора, и даже свежий сентябрьский ветер не мог изгнать отсюда запах веков. Несколько цинний в старинной вазе на подоконнике были единственным красочным пятном, и сиделка заметила, что, когда у епископа открыты глаза, он, не отрываясь, смотрит на цветы. Около шести часов ему сообщили, что съехалась вся семья его давно умершего старшего брата.

— Устройте их поудобнее, — сказал он. — Я бы хотел повидать Адриана.

Когда через час епископ снова открыл глаза, он увидел у своей постели племянника Адриана. Несколько минут умирающий разглядывал его худое смуглое лицо с бородкой, изрезанное морщинами и увенчанное седеющими волосами, — разглядывал с удивлением, словно племянник оказался старше, чем он ожидал. Потом, чуть подняв брови, он проговорил слабым голосом, все с той же насмешливой ноткой:

— Дорогой Адриан! Рад тебя видеть! Подвинься поближе. Вот так. Сил у меня мало, но я хочу, чтобы все они пошли тебе на пользу; хотя ты, может, скажешь, что во вред. Я могу говорить с тобой прямо или молчать. Ты не священник, поэтому и я буду говорить как человек светский — когда-то я им был, а может, так и остался. Я слышал, что ты питаешь склонность, или, как говорится, влюблен в одну даму, которая не может выйти за тебя замуж... Правда?

На добром морщинистом лице племянника мелькнула тревога.

— Правда, дядя Касберт. Мне очень жаль, если я тебя огорчаю.

— А склонность у вас взаимная?

Племянник пожал плечами.

— Со времен моей молодости, дорогой Адриан, свет изменил свои взгляды на многое, но брак все еще окружен неким ореолом. Впрочем, это дело твоей совести, и я не к тому веду... Дай мне воды.

Отпив глоток, он продолжал слабеющим голосом:

— После смерти вашего отца я был для всех вас *in loco parentis*¹ и хранителем семейных традиций. Хочу тебе напомнить: род наш старинный и славный. У старых семей только и осталось теперь, что врожденное чувство долга, а людям зрелым и с известным положением, как у тебя, не простят того, что простят человеку молодому. Мне было бы грустно покинуть этот мир, сознавая, что имя наше будет упоминаться в печати или станет пищей для сплетен. Извини, если я вторгся в твою личную жизнь, и разреши мне со всеми вами проститься. Лучше, если ты сам передашь остальным мое благословение, хотя, боюсь, оно немногого стоит. Прощай, дорогой мой, прощай!

Голос упал до шепота. Умиравший закрыл глаза; Адриан постоял с минуту сгорбившись, глядя на его точеное восковое лицо, потом на цыпочках подошел к двери, тихонько открыл ее и вышел.

Вернулась сиделка. Губы епископа шевелились, брови слегка подергивались, но он заговорил еще только один раз:

— Будьте добры, позаботьтесь, чтобы голова у меня лежала прямо и рот был закрыт. Простите, что я говорю о таких мелочах, но мне не хочется произвести отталкивающее впечатление.

Адриан спустился в длинную, обшитую панелями комнату, где дожидались родственники.

— Кончается. Он шлет вам всем свое благословение.

Сэр Конвей откашлялся, Хилари сжал Адриану руку. Лайонел отошел к окну. Эмили Монт вынула крошечный платочек и протянула другую руку сэру Лоренсу. Одна Уилмет спросила:

— А как он выглядит?

— Как призрак воина на щите.

Сэр Конвей снова откашлялся.

— Хороший был старик! — тихо сказал сэр Лоренс.

¹ Вместо отца (*лат.*).

— Да, — со вздохом произнес Адриан.

Так они молча сидели и стояли, смирясь с неудобствами этого дома, где витала смерть. Принесли чай, но, словно по молчаливому уговору, никто до него не дотронулся. И вдруг зазвонил колокол. Все семеро подняли головы. Где-то в пространстве взоры их встретились, скрестились, словно они во что-то вглядывались, хотя там ничего не было.

Кто-то вполголоса сказал с порога:

— Теперь, если хотите, можно с ним проститься.

Сэр Конвей, самый старший из всех, пошел за духовником епископа; остальные двинулись за ним.

Белый, прямой и строгий лежал епископ на своей узкой кровати, придвинутой изголовьем к стене, как раз против створчатых окон, и был он как-то еще высокомернее, чем прежде. В смерти он, казалось, стал даже красивее, чем при жизни. Никто из присутствующих, в том числе и его духовник, тоже глядевший на него в эту минуту, не знал — действительно ли Касберт Портсминстерский был человеком верующим, не говоря, конечно, о вере в земную славу церкви, которой он так преданно служил. Теперь они смотрели на него с самыми различными чувствами, какие вызывает смерть у людей разного склада, но все они испытывали одно общее ощущение — чисто эстетическое удовольствие при виде такого незабываемого величия.

Конвей — генерал сэр Конвей Черрел — видел много смертей на своем веку. Сейчас он стоял, скрестив опущенные руки, как когда-то в Сандхерсте¹ по команде «вольно». Лицо его со впалыми висками, тонкими губами и тонким носом выглядело чересчур аскетическим для солдата; глубокие морщины сбегали по обветренным щекам от скул до волевого подбородка, темные глаза глядели пристально, над верхней губой топорщились короткие усы с проседью; он был, пожалуй, самым спокойным из всех восьмерых, а стоявший рядом долговязый Адриан — самым беспокойным. Сэр Лоренс Монт держал под руку свою жену Эмили, и его худое, нервное лицо словно говорило: «Какое прекрасное зрелище... Не плачь, дорогая».

¹ Офицерское училище.

Хилари и Лайонел стояли по обе стороны Уилмет; на их длинных, узких и решительных лицах, морщинистом — у Хилари и гладком — у Лайонела, застыло выражение какого-то грустного недоумения, словно и тот и другой ожидали, что глаза покойника вот-вот откроются. Высокая, худощавая Уилмет раскраснелась и сжала губы. Духовник стоял с опущенной головой, губы его шевелились, точно он шептал про себя молитву. Так они простояли минуты три, потом с подавленным вздохом потянулись к двери и разошлись по своим комнатам.

Когда они встретились снова за ужином, помыслы и разговоры их вернулись к делам житейским. Дядя Касберт ни с одним из них не был особенно близок, хоть и считался признанным главой семьи. Обсудили вопрос, похоронить ли его рядом с предками на фамильном кладбище в Кондафорде или здесь, в соборе. Вероятно, это должно было решить его завещание. Все, за исключением генерала и Лайонела, назначенных душеприказчиками, в тот же вечер вернулись в Лондон.

Прочитав завещание, — оно оказалось коротким, ведь умершему почти нечего было завещать, — оба брата помолчали. Наконец генерал сказал:

— Я хочу с тобой посоветоваться. Насчет моего мальчика, Хьюберта. Ты читал, как на него накинута в палате перед роспуском на каникулы?

Скупой на слова Лайонел — его вот-вот должны были назначить судьей — кивнул.

— Я читал, что был сделан запрос, но не знаю, что говорит об этом сам Хьюберт.

— Могу тебе рассказать. Возмутительная история. Конечно, он мальчик вспыльчивый, но чист, как стеклышко. На его слово можно положиться. И вот что я тебе скажу: будь я на его месте, я, наверно, поступил бы точно так же.

Лайонел кивнул.

— Что, собственно, случилось?

— Ты же знаешь, он пошел на войну добровольцем прямо из школы, хотя его возраст еще не призывали, год прослужил в авиации; был ранен, вернулся в строй, а после войны остался в армии. Служил в Месопотамии, потом в Египте и Индии. Подцепил тропическую малярию и в ок-

тябре прошлого года получил отпуск по болезни на целый год — до первого октября. Врачи рекомендовали ему попутешествовать. Хьюберт получил разрешение и отправился через Панамский канал в Лиму. Там он встретил американского профессора Халлорсена, того, что не так давно побывал в Англии и прочитал тут несколько лекций, кажется, о каких-то редкостных ископаемых в Боливии, — Халлорсен как раз снаряжал туда новую экспедицию. Когда Хьюберт попал в Лиму, экспедиция собиралась в путь, и Халлорсену нужен был начальник транспорта. Хьюберт уже чувствовал себя хорошо и ухватился за эту возможность. Не выносит безделья. Халлорсен взял его — это было в декабре — и вскоре оставил начальником лагеря, одного с целой бандой индейцев, погонщиков мулов. Хьюберт был там единственным белым; к тому же его отчаянно трепала лихорадка. По его словам, эти индейцы — сущие черти; никакого понятия о дисциплине, и жестоко обращаются с животными. Хьюберт с ними не поладил, — я же говорю, что он мальчик вспльчивый и очень любит животных. Индейцы все больше отбивались от рук; наконец один, которого Хьюберту пришлось отхлестать за скверное обращение с мулами и подстрекательство к мятежу, напал на него с ножом. К счастью, у Хьюберта был под рукой револьвер, и он его застрелил. Вся шайка, кроме трех человек, разбежалась; мулов они угнали. Не забудь, мальчик оставался там один почти три месяца, без всякой помощи, не получая никаких известий от Халлорсена. Но, хоть и еле живой, он кое-как продержался там с оставшимися людьми. Наконец вернулся Халлорсен и, вместо того чтобы посочувствовать ему, на него накинулся. Хьюберта это взорвало, он тоже в долгу не остался и сразу же взял да уехал. Вернулся домой и живет сейчас с нами, в Кондафорде. Малярия у него, к счастью, прошла, но он и сейчас еще никак не поправится. А теперь этот тип, Халлорсен, разругал его в своей книге, свалил всю вину за провал экспедиции на него, обвинил в самодурстве и неумении обращаться с людьми, назвал необузданным аристократом, — словом, наговорил всякого вздора — сейчас ведь это модно. Ну вот, один член парламента из военных к этому привязался и сделал запрос. От социалистов ничего хорошего и не ждешь, но когда военный обвиняет

тебя в поведении, недостойном английского офицера, это уже никуда не годится. Халлорсен сейчас в Америке. Никто не может привлечь его к ответственности, и к тому же у Хьюберта нет свидетелей. Похоже, что вся эта история может испортить ему карьеру.

Длинное лицо Лайонела Черрела еще больше вытянулось.

— Он обращался в генеральный штаб?

— Да, ходил туда в среду. Встретили его холодно. Модная демагогия насчет самодурства знати их очень пугает. И все-таки там, в штабе, по-моему, могут помочь, если дело не пойдет дальше. Но разве это возможно? Хьюберта публично ошельмовали в этой книге, а в парламенте обвинили в уголовщине, в поведении, недостойном офицера и джентльмена. Проглотить такое оскорбление он не может, а в то же время... что ему делать?

Лайонел, куривший трубку, глубоко затаился.

— Знаешь что, — сказал он, — лучше ему не обращать на все это внимания.

Генерал сжал кулак.

— Черт возьми, Лайонел, ты это серьезно?

— Но он ведь признает, что бил погонщиков, а потом и застрелил одного из них. У людей не такое уж богатое воображение — они его не поймут. До них дойдет только одно: в гражданской экспедиции он застрелил человека, а других избил. Никто и не подумает ему посочувствовать.

— Значит, ты всерьез советуешь ему проглотить обиду?

— По совести — нет, но с точки зрения житейской...

— Господи! Куда идет Англия? И что бы сказал дядя Франтик? Он так гордился честью нашей семьи.

— Я горжусь ею тоже. Но разве Хьюберт с ними справится?

Наступило молчание.

— Это обвинение марает честь мундира, а руки у Хьюберта связаны, — заговорил генерал. — Он может бороться, только выйдя в отставку, но ведь душой и телом он военный. Скверная история... Кстати, Лоренс говорил со мной об Адриане. Диана Ферз — урожденная Диана Монтджой, правда?

— Да, троюродная сестра Лоренса... И очень хорошенькая женщина. Ты ее видел?

— Видел, еще девушкой. Она сейчас замужем?

— Вдова при живом муже... двое детей, а супруг в сумасшедшем доме.

— Весело. И неизлечим?

Лайонел кивнул.

— Говорят. Впрочем, никогда нельзя сказать наверняка.

— Господи!

— Вот именно. Она бедна, а Адриан еще беднее. Она его старая любовь, еще с юности. Если Адриан наделает глупостей, его выгонят с работы.

— Ты хочешь сказать — если он с ней сойдется? Но ему уже пятьдесят!

— Седина в голову... Больно уж хороша. Сестры Монтджой всегда этим славилась... Как ты думаешь, он тебя послушается?

Генерал мотнул головой.

— Скорее он послушается Хилари.

— Бедняга Адриан... ведь он редкий человек! Поговори с Хилари, но он всегда так занят.

Генерал поднялся.

— Пойду спать. У нас в усадьбе не так пахнет плесенью, а ведь Кондафорд построен куда раньше.

— Здесь слишком много дерева. Спокойной ночи.

Братья пожали друг другу руки и, взяв каждый по свече, разошлись по своим комнатам.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Усадьба Кондафорд еще в 1217 году перешла во владение Черрелов — их имя писалось тогда Керуэл, а иногда и Керуал, в зависимости от прихоти писца; до них усадьбой владело семейство де Канфор (отсюда и ее название). История перехода имения в руки новых владельцев была овеяна романтикой: тот Керуэл, которому оно досталось благодаря женитьбе на одной из де Канфор, покорило сердце своей дамы тем, что спас ее от дикого кабана. Он был безземельным дворянином; его отец, француз из Гюйенны, перебрался

в Англию после Крестового похода Ричарда Львиное Сердце; она же была наследницей владетельных де Канфоров. Кабана увековечили в фамильном гербе; кое-кто подозревал, что скорее кабан в гербе породил легенду, чем легенда — кабана. Как бы то ни было, знатоки каменной кладки подтверждали, что часть дома была построена еще в двенадцатом веке. Когда-то его окружал ров, но при королеве Анне некий Черрел, одержимый страстью к новшествам — то ли ему показалось, что настал золотой век, то ли его просто раздражали комары, — осушил ров, и теперь от него не осталось и следа.

Покойный сэр Конвей, старший брат епископа, получивший титул в 1901 году, когда его назначили в Испанию, служил по дипломатической части. Поэтому при нем имение пришло в упадок. Он умер в 1904 году за границей, но упадок имения продолжался и при его старшем сыне, нынешнем сэре Конвее: находясь на военной службе, он до конца войны¹ лишь изредка наезжал в Кондафорд. Теперь, когда он жил здесь безвыездно, сознание, что его предки обосновались тут еще во времена Вильгельма Завоевателя, подсказывало ему, что надо привести родовое гнездо в порядок, и сейчас оно неплохо выглядело снаружи и казалось уютным внутри, хотя жить там генералу стало уже не по карману. Имение не могло приносить большого дохода — слишком много здесь было лесных угодий; хоть и не заложенное, оно давало всего несколько сот фунтов стерлингов в год. Пенсия генерала и скромная рента его жены (достопочтенной² Элизабет Френшем) позволяли им платить небольшие налоги, держать двух верховых лошадей для охоты и жить скромно, едва сводя концы с концами. Жена генерала была одной из тех женщин, которые кажутся такими незначительными и так много значат для своих близких. Ненавязчивая, мягкая, она никогда не сидела сложа руки и всегда держалась в тени, а ее бледное спокойное лицо с застенчивой улыбкой говорило о том, что для душевного богатства вовсе не нужно денег и даже большого ума. Муж и трое ее детей знали, что всегда могут положиться на ее

¹ Имеется в виду Первая мировая война 1914–1918 годов.

² Титул сыновей и дочерей высшей знати.

безграничную преданность. Все они были люди куда более живые и яркие, но с ней они отводили душу.

Она не поехала с генералом в Портсминстер и теперь дожидалась его дома. Обивка на мебели уже поистерлась, и генеральша стояла посреди гостиной, раздумывая, продержится ли она еще сезон, но тут появился шотландский терьер, а за ним ее старшая дочь Элизабет, которую все звали Динни; тоненькая, довольно высокая, с каштановыми волосами, чуть-чуть вздернутым носом и широко расставленными васильковыми глазами и ртом, точно с картины Боттичелли, она напоминала цветок на длинном тонком стебле, — казалось, он вот-вот сломается, а он не ломался. Весь ее облик говорил о том, что ей трудно относиться к жизни серьезно. Она была похожа на родник, или ключ, где вода всегда весело журчит и искрится. «Искрится, как шампанское», — говорил о ней ее дядюшка сэра Лоренс Монт. Ей уже исполнилось двадцать четыре года.

— Мама, нам придется носить траур по дяде Франтику?

— Не думаю; во всяком случае, не глубокий.

— Его похоронят здесь?

— Наверно, в соборе; отец нам скажет.

— Хочешь чаю? Скарамуш, сюда и не суй свой нос в паштет.

— Динни, меня так беспокоит Хьюберт.

— Меня тоже, мамочка, он какой-то сам не свой; от него остался один профиль, похож на старинную немецкую гравюру. Нечего ему было ездить в эту дурацкую экспедицию. С американцами трудно ладить, ну, а Хьюберту труднее, чем кому бы то ни было. Он никогда не мог с ними ужиться. Да и штатским, по-моему, незачем связываться с военными.

— Почему?

— Понимаешь, у военных ум такой закаменелый. Они твердо знают, что Богу, а что — мамоне. Неужели ты не заметила?

Леди Черрел это заметила. Она застенчиво улыбнулась и спросила:

— А где он? Сейчас вернется отец.

— Он пошел с Доном за куропатками к ужину. Держу пари, что он их прозевает, да и все равно куропатки к ужи-

ну не успеют. Хьюберт в таком настроении, что не приведи господь или, лучше сказать, не приведи дьявол. Ни о чем, кроме этой истории, не может думать. Одно для него спасение — влюбиться. Давай найдем ему подходящий идеал? Позвонить, чтобы принесли чай?

— Позвони. И сюда в комнату нужны свежие цветы.

— Сейчас нарву. Пойдем, Скарамуш!

Динни вышла в залитый сентябрьским солнцем парк; на нижней лужайке она заметила зеленого дятла и вспомнила детский стишок: «Семь малых птичек в семь клювов долбят — берегись, червячок, тебя здесь съедят». Какая ужасная сушь! А все-таки циннии в этом году чудесные, — и она принялась их рвать. Они переливались всеми тонами в ее руках — от темно-красных до бледно-розовых и лимонно-желтых; красивые, но какие-то холодные. «Жаль, что не бывает клумб с живыми девушками, — подумала она, — мы бы могли сорвать там что-нибудь для Хьюберта». Она редко выказывала свои чувства, но глубоко в ее душе жили две заветные, неотделимые друг от друга привязанности — к брату и к Кондафорду; Кондафорд был смыслом ее жизни, она любила его с той страстью, какой никто бы у нее и не заподозрил; ее обуревало ревнивое желание внушить своему брату такую же любовь к родным местам. Ведь она родилась здесь, когда все было еще в запустенье, — усадьба отстраивалась у нее на глазах. Для Хьюберта она была только местом, где можно провести праздники и отпуск. Динни же, хотя ей и в голову бы не пришло говорить о своем происхождении или обсуждать его всерьез на людях, втайне питала непоколебимую веру в свой род, его владения и дела. Каждый зверь, каждая птица, каждое деревцо в Кондафорде, даже цветы, которые она сейчас рвала, были частицей ее самой, так же как и простые люди здешней округи, в своих крытых соломой домишках, или старинная англиканская церковь, которую она посещала, хоть и не была глубоко верующим человеком, и тусклые кондафордские зори, которые ей редко случалось видеть, и лунные, оглашаемые криками совы ночи, и длинные солнечные лучи на стерне, — все запахи, звуки и даже самый воздух родных мест. Когда Динни бывала в отъезде, она никогда не жаловалась на тоску по дому, но томилась вдали от него, а возвратив-

шись домой, старалась не проявлять своего восторга. Перейди Кондафорд в чужие руки, она бы, может, и не заплакала, но почувствовала себя как растение, вырванное с корнем из земли. Отец ее питал к Кондафорду спокойную привязанность человека, прожившего лучшие свои годы в других местах; мать принимала имение как должное, ей приходилось хлопотать с утра до ночи, но все же оно не было ей родным гнездом; сестра терпела его поневоле — она предпочла бы место повеселее; ну, а Хьюберт... что думал Хьюберт? Динни не знала. С целой охапкой цинний вернулась она в комнату. Затылок ее нагрело вечерним солнцем.

Мать стояла у чайного столика.

— Поезд опаздывает, — сказала она. — А Клер всегда так гонит машину.

— Не вижу никакой связи, мамочка.

Но она видела эту связь. Мать всегда беспокоилась, когда отец опаздывал.

— Мама, я все-таки считаю, что Хьюберту следует написать в газеты.

— Посмотрим, что скажет отец... он должен был поговорить с дядей Лайонелом.

— Вот и машина, — сказала Динни.

Вслед за генералом в комнату вошла его младшая дочь. Клер была самой яркой в семье. Она коротко стригла свои мягкие черные волосы, на ее бледном выразительном лице выделялись чуть подкрашенные губы. Взгляд ее карих глаз был прямой и нетерпеливый, невысокий лоб поражал белизной. Сквозь внешнее спокойствие проглядывало какое-то отчаянное удальство, и она выглядела старше своих двадцати лет. У нее была прекрасная фигура и царственная осанка.

— Бедняжка папа не обедал, — сказала она, входя.

— Ну и поездка, Лиз, — заметил генерал. — Стаканчик виски с содовой и печенья — вот и все, что у меня было во рту с самого утра.

— Сейчас дам тебе гоголь-моголь с вином, — сказала Динни и вышла. Вслед за ней вышла и Клер.

Генерал поцеловал жену.

— Старик выглядел очень хорошо, дорогая; впрочем, все мы, кроме Адриана, видели его уже потом. Придется

съездить на похороны. Думаю, что все будет очень пышно. Вот был человек, наш дядя Франтик. Говорил с Лайонелом о Хьюберте; он не знает, как быть. Но я кое-что надумал.

— Да?

— Все дело в том, как отнесется начальство к нападкам в парламенте. Хьюберта могут уволить в отставку. Тогда это конец. Лучше уж уйти в отставку самому. Ему надо явиться на медицинский осмотр первого октября. Удастся ли нам нажать кое на кого так, чтобы он ничего не заподозрил? Мальчик-то ведь гордый. Я бы мог повидаться с Топшемом, а ты поговори с Фоллэнби, ладно?

Лицо леди Черрел вытянулось.

— Я знаю, — сказал генерал, — это очень противно. Впрочем, все зависит от Саксендена, не знаю только, как до него добраться.

— Может быть, Динни что-нибудь придумает.

— Динни? — переспросил генерал. — Пожалуй, она и правда умнее нас всех... не считая тебя, дорогая.

— Ну, — сказала леди Черрел, — я-то умом не могу похвастаться.

— Чушь! А вот и она!

Появилась Динни со стаканом в руке.

— Динни, я как раз говорил маме, что по делу Хьюберта нам надо обратиться к лорду Саксендену. Как бы это сделать?

— Через его соседей по имению. У него есть соседи?

— Его имение граничит с землями Уилфрида Бентуорта.

— Ну вот. Значит, нужны дядя Хилари или дядя Лоренс.

— Почему?

— Уилфрид Бентуорт — председатель комитета по расчистке трущоб, а ведь это любимое детище дяди Хилари. Пустим в ход кумовство, дорогой.

— Гм... Хилари и Лоренс оба были в Портсминстере. Жаль, что мне это там не пришло в голову.

— Хочешь, я с ними поговорю?

— Вот было бы хорошо! Терпеть не могу просить о протекции.

— Конечно, дорогой. Это ведь женское дело.

Генерал с подозрением посмотрел на дочь: он никогда толком не знал, шутит она или нет.

— Вот и Хьюберт, — поспешно сказала Динни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Хьюберт Черрел, за которым шел спаниель, пересекал с ружьем в руке старые серые плиты террасы. Он был худощав и строен, чуть выше среднего роста, с небольшой головой, обветренным лицом, не по возрасту изборожденным морщинами, и темными усиками над тонким нервным ртом; на висках уже пробивалась седина. Над впалыми загорелыми щеками выдавались скулы, широко расставленные карие глаза глядели зорко и беспокожно, над прямым тонким носом срослись брови. Он как бы повторял своего отца в молодости. Человек действия, вынужденный вести созерцательный образ жизни, чувствует себя не в своей тарелке; и с тех пор, как его бывший начальник выступил с нападениями на него, Хьюберт не переставал злиться: он считал, что вел себя правильно или что его, во всяком случае, вынудили так действовать обстоятельства. Он раздражался еще и потому, что его воспитание и характер не позволяли ему жаловаться открыто. Солдат по призванию, а не по случайности, он видел, что его военная карьера под угрозой, его имя офицера и дворянина запятнано, а он не может отплатить своим обидчикам. Голова его, казалось Хьюберту, зажата как в тисках, и каждый, кому не лень, может нанести ему удар — мысль невыносимая для человека с его характером. Оставив на террасе ружье и собаку, он вошел в гостиную и сразу почувствовал, что говорили о нем. Теперь ему то и дело приходилось наталкиваться на такие разговоры — ведь в этой семье неприятности каждого волновали всех остальных. Взяв из рук матери чашку чаю, он объявил, что птицы дичают все больше — ведь леса так поредели, — после чего воцарилось молчание.

— Ну, пойду посмотрю почту, — сказал генерал и ушел вместе с женой.

Оставшись наедине с братом, Динни решила поговорить с ним начистоту.

— Хьюберт, надо что-то предпринять.

— Не волнуйся, сестренка; история, конечно, скверная, но что поделаешь?

— Ты бы мог сам написать, как было дело, — ведь ты вел дневник. Я бы напечатала его на машинке, а Майкл найдет тебе издателя, он всех знает. Нельзя же сидеть сложа руки.

— Терпеть не могу выставлять свои чувства напоказ; а тут без этого не обойдешься.

Динни нахмурила брови.

— А я не желаю, чтобы этот янки сваливал на тебя вину за свою неудачу. Тут затронута честь армии.

— Даже так? Я поехал туда как частное лицо.

— Почему бы не опубликовать твой дневник?

— От этого лучше не станет. Ты его не читала.

— Мы могли бы кое-что вычеркнуть, кое-что приукрасить, и все такое. Понимаешь, папа принимает это так близко к сердцу!

— Тебе стоит его прочесть. Но там полно всяких излияний. Наедине с собой не стесняешься.

— Ты можешь выбросить оттуда все что угодно.

— Большое тебе спасибо, Динни.

Динни погладила его рукав.

— Что за человек этот Халлорсен?

— Откровенно говоря, он человек неплохой: дьявольски вынослив, ничего не боится, никогда не выходит из себя, но для него важнее всего в жизни собственная персона. Неудач у него быть не может, а уж если они случаются, отдуваться должен другой. По его словам, экспедицию подвел транспорт, ну, а транспортом ведал я. Но будь на моем месте сам архангел Гавриил, — и он бы ничего не сделал. Халлорсен ошибся в расчетах и не желает в этом сознаться. Обо всем этом написано в дневнике.

— А это ты видел? — Она показала ему газетную вырезку и прочитала вслух: — «Как стало известно, капитан Черрел, кавалер ордена „За особые заслуги“, возбуждает дело против профессора Халлорсена, чтобы реабилитировать себя в связи с обвинениями, выдвинутыми Халлорсеном в книге о его боливийской экспедиции; в своей книге Халлорсен приписывает капитану Черрелу, не оправдавшему его доверия в трудную минуту, ответственность за про-

вал экспедиции». Видишь, кто-то хочет натравить вас друг на друга.

— Где это напечатано?

— В «Ивнинг сан».

— «Возбуждает дело!» — с горечью воскликнул Хьюберт. — Какое дело? У меня нет никаких доказательств; уж об этом-то он позаботился, когда оставил меня с этой шайкой туземцев.

— Значит, у нас одна надежда — дневник.

— Сейчас принесу тебе эту чертовщину...

Весь вечер Динни просидела у окна, читая «эту чертовщину». Полная луна плыла за старыми вязами; кругом стояла могильная тишина. Лишь где-то на холме одиноко позвякивал какой-то колокольчик да одинокий цветок магнолии белел у самого окна. Все казалось каким-то призрачным, и Динни то и дело прерывала чтение, чтобы поглядеть на это волшебство. Десять тысяч полных лун проплыло тут с тех пор, как ее предки получили этот клочок земли; вокруг царил нерушимый покой, а со страниц дневника на нее веяло мучительным одиночеством. Жестокими словами говорилось там о жестоких делах: белый, брошенный среди дикарей; он любил животных, а кругом животные подышали от голода, и люди не знали к ним жалости. Глядя на эту холодную, застывшую красоту за окном, она испытывала стыд и отчаяние.

«Эта подлая скотина Кастро снова пырлял мулов ножом. Несчастные твари совсем отошдали и еле тянут. Предупредил его в последний раз. Если это повторится, он отведаст хлыста... Опять лихорадка».

«Кастро досталось сегодня как следует — дюжина ударов; посмотрим, уймется он теперь или нет. Никак не могу поладить с этими скотами; в них нет ничего человеческого. Эх, хоть бы денек провести в Кондафорде верхом, позабыть здешние болота и несчастных мулов, от которых остались кожа да кости...»

«Отстегал еще одного из этих скотов — чудовищно обрастают с мулами, будь они трижды прокляты!.. Снова приступ...»

«Чистейший ад! Утром они взбунтовались. Устроили мне засаду. К счастью, меня предупредил Мануэль — славный парень. И все-таки Кастро едва не проткнул мне глотку ножом. Здорово поранил мне левую руку. Я его пристрелил. Может, теперь они поостерегутся. От Халлорсена никаких вестей. Долго еще собирается он держать меня в этом чертовом логове? Рука горит, как в огне...»

«Ну теперь уж мне крышка: пока я спал, эти черти угнали в темноте мулов и скрылись. Остались только Мануэль и еще двое. Мы долго за ними гнались; нашли двух павших мулов, и только; мерзавцы разбежались кто куда; ищи ветра в поле. Вернулся в лагерь чуть живой... Бог знает, выберемся ли мы отсюда когда-нибудь. Рука страшно ноет, надеюсь, это не заражение крови...»

«Думал двинуться сегодня пешком. Сложил груды камней и оставил записку для Халлорсена — описал ему все на случай, если он в конце концов пришлет за мной; потом передумал. Останусь здесь, пока он не вернется или пока мы все тут не подохнем, что куда более вероятно...»

Так и шла эта мучительная повесть до самого конца. Динни отложила неразборчивые, пожелтевшие записки и облокотилась на подоконник. Тишина и холодный свет за окном отрезвили ее. Пыл ее охладел. Хьюберт прав. Зачем выставлять напоказ душу? Нет! Только не это. Личные связи — другое дело, к ним придется прибегнуть; и уж тут-то она для него постарается!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Адриан Черрел был одним из тех любителей деревенской жизни, что постоянно живут в городе. Работа удерживала его в Лондоне, где он опекал целую коллекцию останков доисторического человека. Он задумчиво взирал на челюсть из Новой Гвинеи, получившую восторженные отзывы в печати, и говорил себе: «Очередная шумиха! Просто низший тип Homo sapiens¹», — когда швейцар доложил:

¹ Мыслящий человек (*лат.*).

— Вас спрашивает молодая дама, сэр, — кажется, мисс Черрел.

— Пусть войдет, Джеймс, — сказал он и подумал: «Динни? Как ее сюда занесло?»

— А! Динни! Канробер утверждает, что это челюсть яванского питекантропа, Моклей — эоантропа, а Элдон П. Бэрбенк — австралопитека. А я говорю — *sapiens*: взгляни на коренной зуб.

— Вижу, дядя Адриан.

— Совсем как у человека. У этого типа болели зубы. Зубная боль — признак высокоразвитой культуры. Недаром росписи Альтамиры были найдены в пещерах кроманьонской эпохи. Этот парень, безусловно, *Homo sapiens*.

— Зубная боль — признак культуры? Забавно! Я приехала в город поговорить с дядей Хилари и дядей Лоренсом, но подумала: если сначала мы с тобой пообедаем, я буду чувствовать себя увереннее.

— Ну тогда пойдем в кафе «Болгария», — сказал Адриан.

— Почему?

— Потому что там пока еще хорошо кормят. Это новый ресторан, там пропагандируют все болгарское, и мы сможем пообедать вкусно и дешево. Хочешь попудрить нос?

— Хочу.

— Тогда иди вон туда.

Дождаясь племянницы, Адриан стоял, поглаживая козлиную бородку, и прикидывал, что можно заказать на восемнадцать шиллингов шесть пенсов; он был государственным служащим без собственных средств, и у него редко оказывалось в кармане больше одного фунта стерлингов.

— Дядя Адриан, — спросила Динни, когда они сидели за глазуньей по-болгарски, — что ты знаешь о профессоре Халлорсене?

— Это тот, который собирался открыть в Боливии первые очаги цивилизации?

— Да, и взял с собой Хьюберта.

— А! Но, кажется, бросил его где-то по дороге.

— Ты с ним знаком?

— Да. Я познакомился с ним в тысяча девятьсот двадцатом году, мы вместе поднимались на Малого Грешника в Доломитах.

— Он тебе понравился?
— Нет.
— Почему?
— Видишь ли, он был вызывающе молод, обогнал меня и первым взобрался на вершину... Он чем-то напоминал мне бейсбол. Ты видела когда-нибудь, как играют в бейсбол?

— Нет.
— А я однажды видел, в Вашингтоне. Они поносят противника, чтобы его расстроить. Обзывают сосунком, ловкачом и президентом Вильсоном — словом, всем, что только в голову придет, — как раз когда он собирается ударить по мячу. Такой уж у них обычай. Лишь бы выиграть, любой ценой.

— А ты сам разве не думаешь, что главное — выиграть, любой ценой?

— Кто же в этом признается?
— Но ведь все мы ничем не гнушаемся, если нет выхода?

— Да, так бывает даже в политике.
— А ты бы пытался выиграть любой ценой?
— Наверно.
— Нет, ты бы не стал. А вот я — да.
— Ты очень любезна, детка, но откуда вдруг такое самоуничтожение?

— Я сейчас кровожадна, как комар: жажду крови недругов Хьюберта. Вчера я читала его дневник.

— Женщина еще не утратила веры в свое божественное всемогущество, — задумчиво произнес Адриан.

— Думаешь, нам это угрожает?
— Нет, как бы вы ни старались, вам никогда не удастся уничтожить веру мужчин в то, что они вами командуют.

— Как лучше всего уничтожить такого человека, как Халлорсен?

— Либо дубинкой, либо выставив его на посмешище.
— Наверно, то, что он придумал насчет боливийской цивилизации, — чепуха?

— Полная чепуха. Там нашли странных каменных истуканов, происхождение которых еще не известно, однако его теория, по-моему, не выдерживает никакой критики.

Но позволь, дорогая, ведь Хьюберт тоже принимал во всем этом участие.

— Наука Хьюберта не касалась, он там ведал транспортом. — Динни пустила в ход испытанное оружие: она улыбнулась. — А что если поднять на смех Халлорсена за его выдумку? У тебя это так чудно получится, дядя!

— Ах ты, лиса!

— А разве не долг серьезного ученого — высмеивать всякие бредни?

— Будь Халлорсен англичанином — возможно; но он американец, и с этим надо считаться.

— Почему? Ведь наука не знает границ.

— В теории. На практике многое приходится спускать: американцы так обидчивы. Помнишь, как они недавно взъелись на Дарвина? Если бы мы их тогда высмеяли — дошло бы, чего доброго, и до войны.

— Но ведь большинство американцев сами над этим смеялись.

— Да, но другим они этого не позволяют. Хочешь суфле «София»?

Некоторое время они молча ели, с удовольствием поглядывая друг на друга. Динни думала: «Как я люблю его морщинки, да и борода у него просто прелесть». Адриан думал: «Хорошо, что нос у нее чуть-чуть вздернутый. Прелестные у меня все-таки племянницы и племянники». Наконец Динни сказала:

— Значит, дядя, ты постарайся придумать, как нам проучить этого человека за все его подлости по отношению к Хьюберту?

— Где он сейчас?

— Хьюберт говорит — в Штатах.

— А тебе не кажется, что кумовство — это порок?

— И несправедливость тоже, а своя кровь — не вода.

— Это вино, — с гримасой сказал Адриан, — куда жиде воды. Зачем тебе нужен Хилари?

— Хочу выпросить у него рекомендательное письмо к лорду Саксендену.

— Зачем?

— Отец говорит, он важная птица.

— Значит, решила пустить в ход протекцию?

СОДЕРЖАНИЕ

Книга первая. ДЕВУШКА ЖДЕТ.....	5
<i>Перевод Е. Гольшевой и Б. Изакова</i>	
Книга вторая. ПУСТЫНЯ В ЦВЕТУ.....	318
<i>Перевод Е. Гольшевой и Б. Изакова</i>	
Книга третья. ЧЕРЕЗ РЕКУ.....	566
<i>Перевод В. Станевич</i>	